

А. Бенуа

Мои воспоминания

Книги 1, 2, 3

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
А11

А11 **А. Бенуа**
Мои воспоминания: Книги 1, 2, 3 / А. Бенуа – М.: Книга по Требованию, 2024. – 750 с.

ISBN 978-5-517-95459-6

Репринтное издание по технологии print-on-demand с оригинала 1980 года

ISBN 978-5-517-95459-6

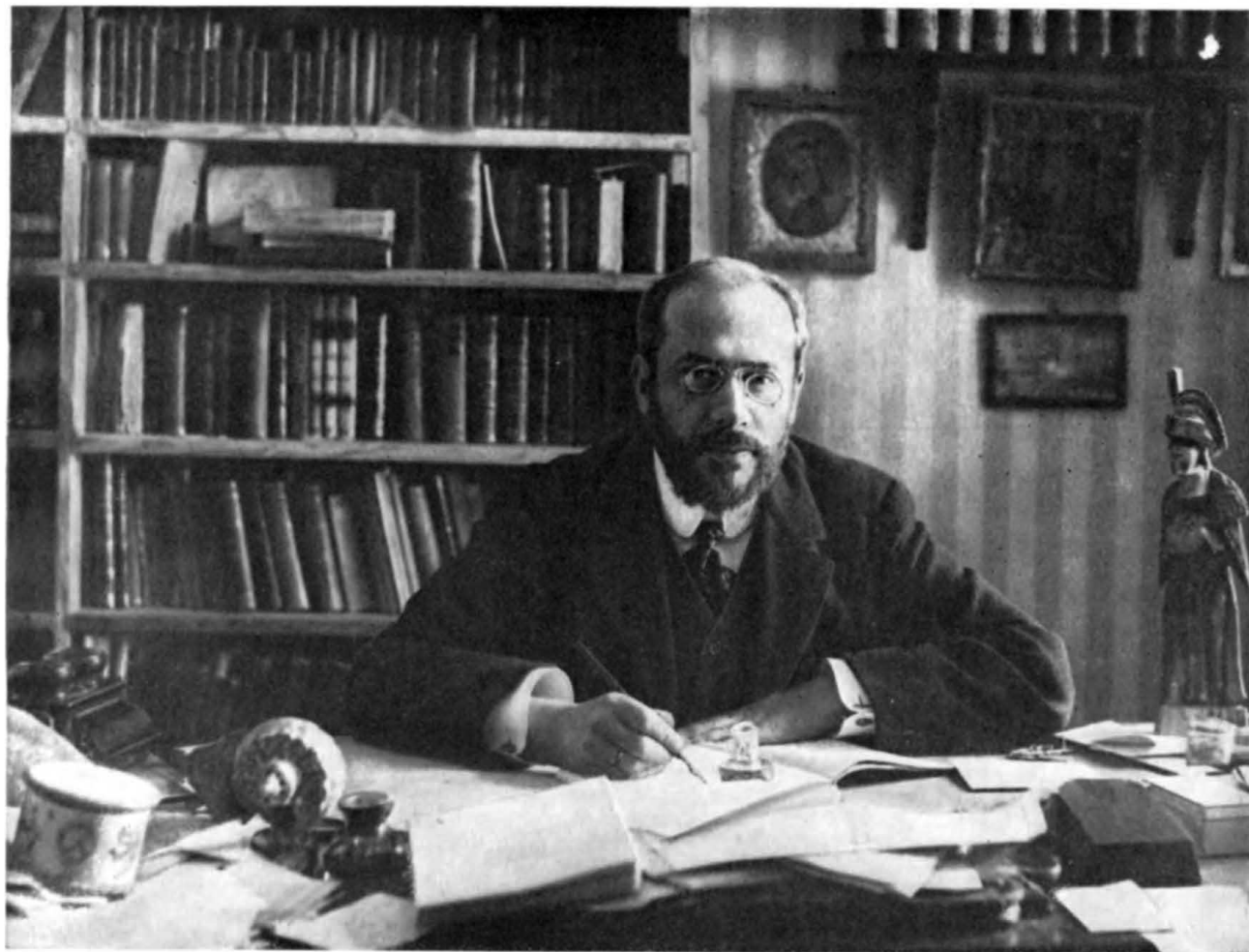
© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



АЛЕКСАНДР БЕНУА
в своем рабочем кабинете в Петербурге.
Фот. 1910-х годов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Каждый мемуарист интересен в двух отношениях: в том, что он рассказывает и о чем, и в том, как проступает в рассказываемом его собственная личность, его художественный талант, его воззрения и его эпоха. В обоих этих отношениях воспоминания Александра Бенуа исключительно интересны. Он свидетель и он участник. Как свидетель он обладает удивительной памятью и даром художественного обобщения виденного.

Он сам писал о себе — как о мемуаристе: «А кто я сам? куда девались мои светлые кудри, моя гибкость, мое проворство? Осталось от прежнего одно только неутолимое любопытство и вот эта страсть запечатлевать вещи, достойные, с моей точки зрения, — запечатления».

Его необычайная память и точность восприятия позволили ему спустя полвека дать яркие характеристики тех, с кем ему довелось дружить, работать, встречаться. Едва ли найдутся характеристики Бакста, Дягилева и многих, многих других — равные тем, которые даны им, А. Н. Бенуа. Объемность мышления А. Н. Бенуа, его зрительная точность художника и его богатое писательское дарование позволяют конкретно представить себе начало того значительного художественного движения, которое зародилось в конце XIX в. Как участника этого движения — его свидетельства первостепенны по своему значению, ибо он был главой этого движения, получившего позже название «Мир искусства».

С неповторимым мастерством воспроизводит Александр Бенуа дух и атмосферу артистического Петербурга конца XIX в., и не стоит упрекать его за то, что он редко выходил за пределы всего того, что было связано с этим артистическим кругом. Он не заметил в Петербурге многого из того, что находилось за пределами его художественных интересов. И все же таки ему удалось заметить, что в России государственная власть сосредоточена в руках недостойных людей, а подавление революционного движения 1905 г. вызвало его возмущение.

Долгие годы отрыва от своей родины законсервировали его вкусы, его литературную манеру, его память. Он был долголетен не только годами, но и своими взглядами и суждениями, впрочем, не всегда последовательными. Он пишет так, как писали многие и как писал он сам в дни своей молодости, вдруг, однако, поднимаясь над самим собой и критически отзываясь о своих взглядах и поступках. В целом же его воспоминания сохраняют известную долю старомодности, и это тоже интересно. Его вкусы и суждения в иных случаях сохраняются неизменными на протяжении полувека. Но они типичны для русской артистической интеллигенции, не очень разбиравшейся в политике, но склонной критически относиться к тогдашней действительности и не умевшей ее последовательно анализировать.

Иногда он заявляет себя монархистом. Но «монархизм» Бенуа был особого рода. Он преклонялся в молодости перед императрицей Елизаветой Петровной и посвятил ей одну из первых своих книг, изданную с необыкновенной для того времени роскошью. Его восхищала придворная обстановка, а главным образом петергофские и царскосельские сады и парки. Нравились они так же, как сады Версаля. Тем и другим посвятил он множество картин. Монархизм Александра Бенуа я бы назвал «садово-парковым». В этом монархизме был типичный петербургский эстетизм. И далеко не случайно, что следующему поколению «царскосёлов» пришлось бороться с этим эстетским отношением к царскосельским садам, бороться за Царское Село поэтов конца XVIII — начала XIX в., что и отразилось, в частности, в переименовании Царского Села в город Пушкин. К числу этих борцов принадлежала и Анна Ахматова, чьи строки, обращенные к Садам Лицея («здесь лежала его треуголка и растрепанный том Парни»), были прямым вызовом «елизаветинскому эстетизму» Бенуа и людей его круга. «Его треуголка» — это треуголка Пушкина. Не Елизавета, а Пушкин стал для последующего поколения символом Царскосельских садов.

Вот как сам Александр Николаевич пишет об истоках своего детского и «эстетского» монархизма: «...культ прошлого подзадорил меня к тому, чтобы с большим упорством продолжать уже начатое, а иное начинать сызнова. Так я три раза принимался за картину, в которой захотел выразить свое увлечение XVIII в., в частности, эпохой императрицы Елисаветы Петровны (Бенуа писал именно так — «Елисавета», подражая и орфографии XVIII в. — Д. Л.), эпохой, не пользующейся особым уважением историков, к которой я, однако, с отроческих лет питал особое влечение. ...Я буквально влюбился в портрет, на котором художник Каравакк изобразил восьмилетнюю девочку в виде маленькой, совершенно обнаженной Венус. Этот портрет красовался в «диванной» петергофского Большого дворца, а на другой стене той же комнаты висел в затейливой раме ее же портрет, но уже в виде императрицы... Вся эта комната, с окнами, выходившими на столетние ели, обладала исключительным шармом. Помянутая же моя композиция (мне так ее и не удалось довести до конца) представляла царицу и ее блестящий двор на фоне павильона «Эрмитаж» в Царском Селе». Не менее характерен и другой рассказ Бенуа о том, как он устроил у себя дома довольно роскошный ужин, сервировав его при свечах и водворив во главе стола портрет Елизаветы, «что означало, что ее императорское величество удостоило нас своим присутствием». Примерно этого же сорта было его увлечение и версальскими сюжетами.

Но к монархам — своим современникам — он относился с нескрываемой иронией. В его мемуарах мы найдем и короткие, но убийственные отзывы о любовной истории Александра II, о грубых шутках Александра III, об ограниченности и невзрачности, об «эмоциональном параличе» Николая II и о его политике, которую Бенуа считал губительной для страны. Он дал страшную характеристику некоторым лицам, близким ко

двору, — например, темной личности Д. А. Бенкендорфа, великому князю Николаю Михайловичу, у которого под оболочкой тончайшего «европейца», «парижанина» и «сказочного принца» обнаруживались весьма неприятные черты грубости и самодурства; «одному из самых тупых» царских министров — В. К. Плеве или К. П. Победоносцеву — этому русскому «Великому Инквизитору», самая внешность которого представлена в «Моих воспоминаниях» как олицетворение «мертвенного и мертвящего бюрократизма», наводящего жуть и создававшего вокруг себя «ледяную атмосферу».

В начале своих воспоминаний Бенуа называет себя «космополитом», но космополитом в нашем смысле этого слова он не был. Он хотел только сказать, что ему были дороги и ценны культурные памятники всех стран и народов, что сам он воспитывался в многонациональной среде своего города, своей семьи и гимназии К. И. Мая, где русских было не более половины, а остальную половину составляли немцы, англичане и французы, жившие в Петербурге. Сам он переезжает из страны в страну и жадно изучает, всматривается в памятники искусства. Но любит и понимает он, по-настоящему гордится — только достижениями и успехами русской культуры, в которых для него отразилось «величие и великолепие России». Он пропагандирует русское искусство за рубежом, в известную историю искусств Мутера вписывает целый раздел о русском искусстве, восторгается триумфальными представлениями за рубежом русского балета, устраивает выставки неофициального русского искусства, открывает ценность русского искусства XVIII в. (здесь ему пригодился и его «садово-парковый монархизм») и начала XIX в. Он гордится талантами «клана Бенуа», но гордится именно потому, что «клан Бенуа» так много дал русской культуре, и в конце концов сам признает, что по-настоящему мог творить только на родине и для родины.

Не следует придавать значения многим из его заявлений, в которых он декларирует те или иные свои убеждения. Важнее его дела, а в них он — истинный, истый и даже неистовый патриот.

Показательна в этом отношении глава 8 третьей книги «Воспоминаний», где Бенуа признает, что с увлечения «Спящей красавицей» «начался во мне переворот в отношении русской музыки; от полного ее неведения (и даже какого-то презрения) это увлечение меня привело к восторженному поклонению. С того момента я стал ярким поклонником Чайковского. Постепенно (и очень скоро) это поклонение распространилось и на всю русскую музыку». «Пиковая дама», пишет А. Бенуа, «буквально свела с ума». За Чайковским последовало увлечение Мусоргским и Бородиным. Появилась потребность пропагандировать все русское. Он пишет в конце своих воспоминаний: «Не раз уже в течение этих записок я касался того равнодушия, которое я обнаруживал в отношении ко всему национально русскому. В качестве продукта типичной петербургской культуры я грешил, если не презрением, то известным пренебрежением и к древней русской живописи, и к характерной русской архитектуре, и к древнерусской литературе».

Можно поверить ему тогда, когда он говорит о своем «прозелитизме» — страсти проповедничества. И эта страсть была направлена в конце концов на одно: открыть, добиться признания забытым или недостаточно обращавшим на себя внимание его современников духовным ценностям русского искусства, открыть «свое», родное ему в новых явлениях искусства. Всей своей деятельностью он заслужил звание патриота.

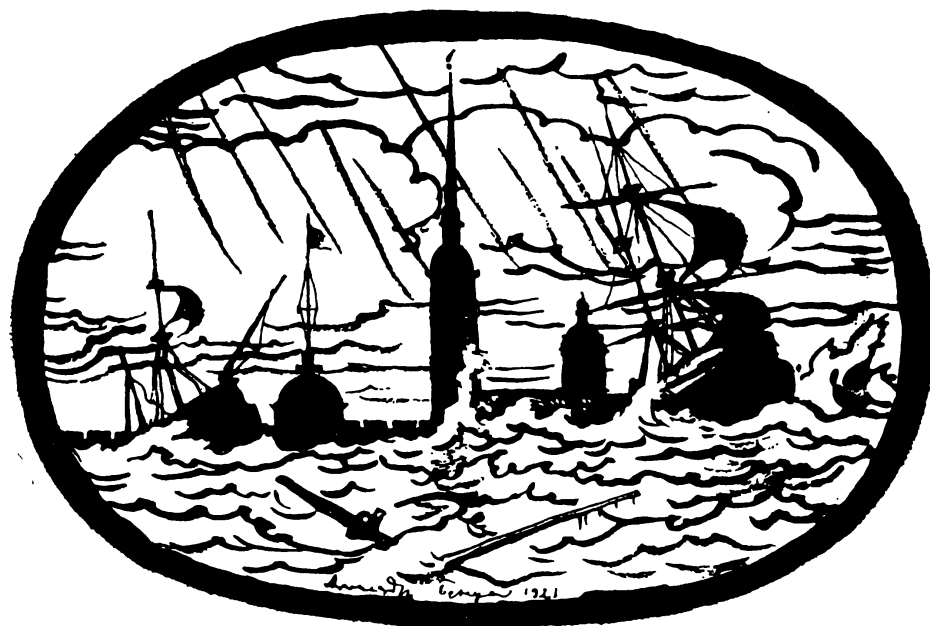
Впрочем, он не был так сентиментально восторжен, как может показаться сперва. Воспоминания Бенуа открываются своего рода гимном старому Петербургу. Этот гимн превосходно написан и, разумеется, идеализирует Петербург, ибо интересуется его прежде всего Петербург «императорский», как и Царское Село интересовало его своей «елизаветинской красотой». Здесь особенно сказывается ограниченность того круга общества, в котором он жил и которое по преимуществу изобразил. Но, начав свою книгу на очень высокой ноте, Бенуа в дальнейшем с нескрываемой иронией изображает все то, что восхвалял сперва. Читатель найдет в его книге ироническое изображение петербургской снобистской молодежи, театральной закулисной жизни императорских театров, преподавания в императорской Академии художеств, дилетантствующих коллекционеров вроде богача Н. П. Рябушинского, отдельных служащих императорского двора. Апофеоз Петербургу, с которого открывается книга, постепенно развенчивается. Характеристики царствующих особ и членов императорской фамилии поражают одновременно и своей колоритностью и некоторой наивностью. Читателю остается одно: следить за тем, что могли высмотреть глаза знаменитого художника и деятеля русской культуры и не очень доверяться всему тому, в чем он считает себя дальнзорким и дальновидным. Вернее, — читателю остается принимать все его обобщения как свидетельство не столько об окружавшей Бенуа действительности, сколько как свидетельства о нем самом и о его окружении.

Александр Бенуа был выдающейся личностью и поэтому стоит всмотреться и в его ошибки, в неточности его суждений. Они тоже «свидетельства»: свидетельства не только о нем, об Александре Бенуа, но и о его среде, игравшей исключительную роль в своеобразном расцвете всех видов русского искусства начала XX века и выхода русского искусства на мировую арену.

Воспоминания Александра Бенуа — огромный и бесценный клад различных сведений, блестящий литературный памятник, — памятник, принадлежащий не только выдающемуся деятелю, но и человеку с глазами художника и искусствоведа, оценившему не только художественные произведения своего времени, но и все то художественное наследие, которое оказалось таким действенным для конца XIX — начала XX в.

Д. С. Лихачев.

Памяти моей дорогой жены



КНИГА ПЕРВАЯ



Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

Глава 1 МОЙ ГОРОД

Я должен начать свой рассказ с признания, что я так и не дозрел, чтобы стать настоящим патриотом¹, я так и не узнал пламенной любви к чему-то огромно-необъятному, не понял, что его интересы — мои интересы, что мое сердце должно биться в унисон с сердцем этой неизмеримой громады. Таким, видно, уродом я появился на свет и возможно, что причиной тому то, что в моей крови сразу несколько (столь между собой завраждовавших) родин — и Франция, и Немецчина, и Италия. Лишь обработка этой мешанины была произведена в России, причем надо еще прибавить, что во мне нет ни капли крови русской. Однако в нашей семье я один только таким уродом и был, тогда как мои братья все были русские пламенные патриоты с большей или меньшей примесью чего-то скорее французского или итальянского в характере. Факт во всяком случае остается: я Россию как таковую, Россию в целом знал плохо, а в характерных чертах ее многое даже претило мне, и это еще тогда, когда я о существовании каких-то характерных черт не имел ни малейшего понятия.

Напротив, Петербург я любил. Во мне чуть ли не с пеленок образовалось то, что называется «*patriotisme de clocher*»*. Я понимал прелесть моего города, мне нравилось в нем все; позже мне не только уже все нравилось, но я оценил значение всей этой целостности. Я исполнился к Петербургу того чувства, которое, вероятно, жило в римлянах к своей *urbs***, которое у природного француза к Парижу, у англичанина к Лондону, у истинно русского человека к Москве, которого, пожалуй, нет у немцев. Немцы, те действительно патриоты всей своей страны в целом: *Deutschland über Alles...**** А во мне скорее жил (да и теперь живет) такой императив — *Petersburg über Alles...*****

Я отлично знаю, что это вовсе не то чувство, которое полагается в себе питать и которым можно гордиться. Тем не менее это чувство мое имеет абсолютное утверждение. Скажу тут же — из всех ошибок «старого» режима в России мне представляется наименее простительной его измена

* Местным патриотизмом (*франц.*).

** Город (*лат.*).

*** Германия превыше всего (*нем.*).

**** Петербург превыше всего (*нем.*).

Петербургу². Николай II думал, что он вполне выражал свое душевное созвучие с народом, когда высказывал чувство неприязни к Петербургу, однако тем самым он отворачивался и от самого Петра Великого, от того, кто был настоящим творцом всего его самодержавного величества. Внешне и символически неприязнь эта выразилась, когда он дал свое согласие на изменение самого имени, которым прозорливый вождь России нарек свое самое удивительное творение. Я даже склонен считать, что все наши беды произошли как бы в наказание за такую измену, за то, что измелъчавшие потомки вздумали пренебречь «завещанием» Петра, что, ничего не поняв, они сочли, будто есть нечто унижительное и непристойное для русской столицы в данном Петром названии. «Петроград» означало нечто, что во всяком случае было бы не угодно Петру, видевшему в своей столице большее, чем какое-то монументальное поминание своей личности. Петроград, не говоря уже о привкусе чуждой Петру «славянщины», означает нечто сравнительно узкое и замкнутое, тогда как Петербург, или точнее Санкт-Петербург, означает город-космополит, город, поставленный под особое покровительство того святого, который уже раз осенил идею мирового духовного владычества³ — это означает «второй» или «третий» Рим. Самая несуразность соединения сокращенного латинского *sanctus* * и слов германского звучания «Петер» и «Бург», как бы символизирует и подчеркивает европейскую, вернее, космополитическую природу Петербурга.

Все эти мысли, осознанные давным-давно, достигли во мне крайней напряженности именно в тот момент, когда Санкт-Петербург был переименован в ознаменование чудовищной международной, но главным образом европейской, распри (европейцы против европейцев — «своя своих не познаше»). Тогда я с особой силой ощутил и то, что во мне живет культ Петербурга. Но любил я его уже и тогда, когда вовсе не понимал, что вообще можно «любить» какие-то улицы, каменные нагромождения, каналы, какой-то воздух, какой-то климат и всевозможные лики сложного целого, менявшиеся в зависимости от времени года, от часа дня, от погоды. «Открывал» я Петербург в течение многих лет, в сочетании с собственными настроениями и переживаниями, в зависимости от радостей и огорчений своего сердца.

О, как я обожал петербургскую весну с ее резким потеплением и особенно с ее ускоренным посветлением. Что за ликование и что за щемящая тоска в петербургской весне... И опять-таки я ощущал как нечто исключительно чудесное и патетическое, когда, после сравнительно короткого лета, наступала «театрально эффектная» осень, а затем «оглянуться не успеешь, как зима катит в глаза». Зима в Петербурге именно катила в глаза. В Петербурге не только наступали холода и шел снег, но накатывалось нечто хмурое, грозно мертвящее, страшное. И в том, что все эти ужасы все же вполне преодолевались, что люди оказывались хитрее стихий, в этом было нечто бодрящее. Именно в зимнюю

* Святой (лат.).